

Владимир Лидский

Умри-воскресни

Повесть

...ее вывели из дворца и через весь Кремль повлекли к какой-то дальней стене, — за спиной ее шли два стрелка с немислимо длинными *винтарями*; шинели стрелков хлопали на ветру, и оба они кашляли в кулаки, красные от мороза, обветренные и задубевшие; поодаль шли двое в штатском, — с повадками племенных вождей, они бубнили бесцветно, перебивая друг друга, — в их голосах слышала тетя София отчаяние, злобу и неизбывное горе, — бубнили так, что слов было не разобрать, лишь звуки-окатыши сыпались с обветренных губ, и тетя София нервничала, вслушиваясь в раздраженную перебранку начальников и сухой кашель стрелков, ветер выл, гоняя поземку, несущуюся, как сор по маслянистым спинкам обледенелых булыжников, жег плечи, ноги и онемевшее на морозе лицо, тетя София шла, время шло, вечность шла, но стояла на месте, и смерть шла рядом с тетей Софией, тетя София шла и почти равнодушно думала: убьют! убьют почем зря, ни за что, без вины... ну, какая моя вина? кто может воскресить почившего? я же не Господь... Он мог, Он сказал: *талифа куми!* а начальнику синагоги сказали те, кто хотел предварить Его: не утруждай Учителя, дочь умерла! но Он взял ее за руку и сказал: талифа куми! что я могла сказать?.. я воскрешаю наложением рук, но вселенная спит, повернувшись ко мне глухим ухом, — трижды могу сказать я: талифа куми! но уснувший навеки уже не проснется... никто не воскреснет, ибо есть причины распада белка... меня убьют и никто не скажет: талифа куми! ибо не Господь воскресил дочь Иаира, а цепь случайностей, причудливо сошедшихся пазлов, велений судьбы, прихотливо уронившей свои песчинки в строгом порядке, который один только и приводит к чуду! я умру и памяти по мне более не будет в мире... и начальники, шедшие за тетей Софией, те самые, которые с повадками племенных вождей, перестали бубнить, перейдя на шипение, и, как две змеи, стали шипеть друг другу шумным шелестящим шепотом, едва сдерживая яд в своих ядовитых зубах; стрелки кашляли, племенные вожди шипели, ветер выл, поземка мелась, и стаи

Владимир Лидский (Михайлов Владимир Леонидович) родился в 1957 году в Москве. Окончил ВГИК, сценарно-киноведческий факультет. Поэт, прозаик, драматург, историк кино. Автор романов «Русский садизм», «Избиение младенцев», сборников стихов «Семицветье» и «По ту сторону зеркала», нескольких киноведческих книг. Публиковался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Новый журнал» и др. Член Союза кинематографистов Кыргызской Республики. Живет в Бишкеке. Предыдущая публикация в «ДН» — 2020, № 5.

сухих замороженных катышков перебежали с места на место; тетя София плелась ко своей гибели и думала: меня воскресят, меня еще воскресят, ибо не зря сказано — талифа куми! я воскресну, меня не забудут, расскажут обо мне, и я буду жить дальше назло и в пику простуженным всмерть стрелкам и начальникам с повадками племенных вождей... ее подвели к стене и приказали стать противу стрелков, она стала, и один из начальников приказал: товсь! она внезапно замерзла, оледенела... так замерзла, как замерзает человек, рухнувший в мерзлоту, и тысячи ледяных искр пронзили все ее существо, сковали мозг, скрутили параличом тело... сердце ее остановилось, и она подумала... что могла подумать бедная моя тетя София? ничего не подумала, а просто в ужасе закрыла глаза и... вовсе не желая того, увидела: день окончания гимназии, и уже тепло, и ольхи над Лидейкой и Каменкой опушились зеленоватым, и она в тот день была в выпускном — в прекрасном белом платье с пелериной и белым бантом, белые нарукавники — выше локтя, — вот она идет по Виленской в сторону костела в окружении однокашниц, это такая, как говорят, стайка легких птичек, беззаботных, веселых, счастливых от сознания того, что жизнь началась, и уже можно... что можно? все! можно все! и можно просто идти навстречу дню, солнцу, молодому лету и прекрасным юношам в сюртуках, жилетах или рубашках навыпуск, и какие же юноши! высокие, смуглые, огнеглазые! перейдя Виленскую возле костела, девочки подходят к шикарному «Гранд-отелю» Беньямина Ландо, — здесь арендует ателье господин Мулер, и это элитное, исполненное аристократического шика место! юные дамы щебечут, ожидая приема фотографа, а тетя София заходит внутрь, становится спиной к заднику, щедро изрисованному южными пальмами, и опирается на ампиный столик, с краю которого стоит псевдоримская ваза с золотыми кариатидами... в руках у тети Софии книга, — это строго запрещенный Рабле, «Гаргантюа и Пантагрюэль», но ведь уже свобода, а господин Мулер и вообще лишен предрассудков! это он дает гимназисткам книгу, толстую солидную книгу, — дабы подчеркнуть степень учености фотографируемых девиц и — снимает, укутавшись в плотный полог, так точно, как укрывается в субботний талит, — вот память, которая ляжет в альбомы и, может быть, останется в чьих-то руках, а может, полежит век, мирно подремывая под обложечным бархатом, и отправится в мусорный бак, угомонившись, успокоившись среди чужого дрязга и праха, и — канет; тетя София бежит между тем домой, на берег Лидейки, где стоит ветхая, но любимая, строенная еще дедом халупка, в которой ждут ее и скучают братья, младшему из которых — два года, он поскребыш, последний сын пожилых родителей, — знали б родители аппетиты эпохи, жрущей младенцев скопом, оптом, не стали б рожать одиннадцать малышей, которые — мечталось им — вырастут и родят внуков; да, мало кто родил внуков, ибо беспокойная была жизнь — сын Богдан погиб на Чукотке, пытаясь осчастливить аборигенов благами Советской власти, сын Саша, скрипач-виртуоз и любимец голландской королевы, чудом уцелел в 1919-ом в ледяном Петрограде, умер в Амстердаме от коварной испанки, сын Авессалом, друг мятежного Кучек-хана, пропал в талышских горах, — все почти дети сгинули в бомбовых воронках эпохи и не оставили будущему малышей, а старики так хотели новых детей! вот и тетя София, бежавшая с Виленской от «Гранд-отеля» Беньямина Ландо, очень хотела своих детей, — привыкнув нянчить братьев-сестер, хотела своего малыша, лучше девочку, с которой можно будет возиться, как с куклой, любить, нянчить, но... не суждено было ей детей, не так что-то сплелось в ее женской сути, — как старался Анджей, любимый пожилой муж ее! — детей не было, но это уже годы спустя; ездили они в Краков, Лодзь и даже Варшаву, да врачи только руками вели, и так дожила тетя

София до конца века, в серьезных уже годах решив наконец не ждать милостей Бога, — попеняла отцу на судьбу, и отец, наведя справки в соседней Хрустальной, велел носить ей думку на животе, а потом — несколько месяцев спустя — убрать думку и носить подушку, на девятом же месяце отец поехал в Хрустальную, одолжив у свояка лошадь с подводой, там, в Хрустальной жила чистая женщина, тяготившаяся детьми, и дети гарантировали ей нищету, вот как раз с месяц до визита отца родила женщина девочку и кормила ее, — отец явился, долго толковал с ней, и она смирилась, — сахарная голова, корзина яиц, большой кусок нанковой ткани и незначительная сумма денег удовлетворили ее скромные желания; договорившись о дне выдачи ребенка, отец вернулся в Лиду, дождался дня, снова одолжил у свояка подводу, взял тетю Софию и в ночь поехал в Хрустальную; женщина, держа ребенка в свивальниках, вышла с крыльца и сказала, обращаясь в пространство: нешто покормить напоследок? но отец, резво спрыгнув с телеги, подошел к женщине, взял младенца и грубо ответил: мать покормит! — так тетя София обрела ребенка, и отец за деньги оформил его, то есть ее — девочку, которую назвали Агнешкой, и Анджей любил дочку самозабвенно, животной какой-то любовью на грани с безумием, тряся над ней, баловал ее и позволял все, что она только хотела, но она ничего не хотела и была равнодушна к жизни, — как птенец, которому не судьба летать, — тетя София, когда дочь явилась, была равнодушна, но держала ее в руках, — Агнешка без остановки вопила, требуя молока, и отец тети Софии пожалел о своем решении в Хрустальной, когда не дал кормить ребенка, — вся семья думала уже, где взять молока, — отец с матерью пошептались, и мать даже хотела дать девочке свои старые и, разумеется, пустые соски, но утром грудь тети Софии надулась и тетя София стала ощущать явственные уколы невидимых иголок, — грудь пухла, иголки кололи изнутри, и тетя София плакала от боли... тут пошло молозиво, и рубашка тети Софии стала мокрой, она все плакала, Анджей метался, но вдруг у тети Софии открылось молоко и она стала кормить; Агнешка стихла и весь день висела на груди тети Софии, покряхтывая, сопя; молока приходило столько, что можно было кормить еще одного, а то и двоих, — все банки, крынки, кастрюльки в доме были полны, и тогда отец позвал знакомую женщину из Полицейского переулка, у которой не было молока, но был младенец, и она носила младенца, тоже девочку, которую тетя София кормила ради избавления от болей в груди; Агнешка была странная — с каким-то посторонним взглядом, и с рождения смотрела на мать так, будто знала что-то незримое; ее младенчество сделало тетю Софию и Анджея богачами: тетя София носила на шее бронзовое кольцо, найденное когда-то в развалинах замка, и пан Шломо Хоскевич, единственный в Лиде антиктвар и редкий знаток старины, на полном серьезе уверял тетю Софию, что кольцо ни больше ни меньше времен Гедимины, а может, и сам князь владел им или некто из его семьи; однажды Агнешка, играясь, схватила кольцо, свисавшее с материнской шеи, и оно изменило цвет; сначала это осталось без внимания, потому что никто не заметил смены цвета, но спустя время Анджей сказал, что кольцо как-то играет, его сняли с нитки и понесли пану Шломо, лавка которого была на Базарной площади возле синагоги; пан Шломо долго рассматривал кольцо в лупу, цокал языком, хмыкал и сказал наконец: оно золотое! — бронзовое, сказал Анджей, вы сами уверяли! — пан Шломо вынул из недр своего стола большой магнит и приложил к кольцу: видите? спросил он, — так ведь и бронза не магнитит, парировал Анджей, — добра, сказал пан Шломо и достал склянку с уксусом, — после двух минут в уксусе кольцо продолжало играть, — не убеждает, сказал Анджей, — добра, снова сказал пан Шломо, роясь в своем

столе, — я таки докажу вам, — и вытащил невзрачный цилиндр, — ляпис, торжественно объявил он и провел цилиндром по кольцу, — и что? спросил Анджей, — не реагирует, сказал пан Шломо и картинно развел руки в стороны, — вашему здоровычку, сказал Анджей, взял кольцо, кивнул тете Софии, и они вышли на площадь; любой немагнитный металл превращался в руках девочки в золото, и Анджей нарочно скупал бронзу, латунь и все такое ради безумного гешефта, дававшего новые тайные возможности, но... теть София боялась золота, зная его коварную силу, и когда ребенок болел, думала: золото тянет из ребенка жизнь, и это спустя годы стало очевидным, но до смерти Агнешки и даже до рождения ее была у тети Софии история, способная всякому атеисту сообщить много пользы, передав редкий опыт понимания смерти не как окончания сущего, а как начала вечного взаимодействия с будущим и пролога общения с потомками: теть София решила стать медиком и в восемьдесят шестом, девятнадцати лет, поступила в Московский университет; спустя два года стала она ученицей Клейна, который был ординарным профессором кафедры паталогической анатомии; Иван Федорович научил ее любить мертвецов, потому что мертвец есть непостижимая тайна, требующая, безусловно, разгадки, и когда впервые в прозекторской увидела она на мраморе секционного стола разъятое женское тело, с ней случился почти припадок, — с тех пор всегда, находясь в секционной, испытывала она экстатическое чувство причастности к загадочному миру мертвых, которые — она знала точно — рано или поздно воскреснут, ибо помнила она слова от века: *истинно говорю вам: грядет время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, оживут и изыдут, творившие добро — в воскресение жизни, творившие зло — в воскресение осуждения*; внутренний мир человека — в прямом смысле выражения — восхищал ее своей удивительной сутью — гармонией, порядком и божественной красотой, ей хотелось вернуть сие чудо к жизни, — и она пыталась сделать это посредством наложения рук, но... знаний было катастрофически мало, и она часами говорила с учителем, который уверял, что воскрешение невозможно, ибо плоть конечна и разрушение белка есть необратимый процесс; в это время на Девичьем поле строился Клинический городок, а в нем — здание Патологоанатомического института; Иван Федорович звал ее по завершении учебы к себе — в качестве ассистента, но она, пытаясь понять правила воскрешения мертвых и не понимая их, думала учиться дальше, что привело в конце концов в Берлин, где она застала гениального Вирхова, сильно повлиявшего на ее осознание природы, а главное, — давшего ей истинное понимание жизни согласно знаменитому тезису *omnis cellula e cellula*, то есть «клетка происходит от клетки»; сначала она подробно изучила воззрения древних, чтобы понимать движение мысли от века к веку, — может быть, думала она, в их открытиях, предположениях, догадках есть рациональные зерна, и с упрямством неопита пыталась сыскать их, но логика пионеров науки страдала такими изъянами, какие просто не вписывались в естественно-научные представления конца девятнадцатого века; Фалес Милетский, к примеру, полагал: явлению жизни способствуют атомы огня во взаимодействии с землей, Эмпедокл уверял, будто рождение живых организмов происходит в речном иле благодаря подземным миграциям тепла, Платон в свою очередь убеждал современников в духовном происхождении материи, то есть неживая материя, по его мнению, становилась живой как только сходил на нее горный дух... что за дух, откуда сходил и какова вообще природа его, Платон не объяснял; Аристотель меж тем поддерживал идеи Платона, но теть София при всем уважении к обоим не могла слепо довериться авторитетам; так же категорично отвергла она и учение

Блаженного Августина, который подводил под свою теорию религиозную базу; находясь в полной растерянности, тетя София пыталась нащупать твердую научную почву, но тут Вирхов, подливая масла в огонь, посоветовал критически осмыслить Парацельса, дабы убедиться в полной несостоятельности великого медика в вопросах зарождения жизни, — Парацельс и вовсе нес какой-то околонуточный бред, граничивший со средневековым мракобесием: возьми, дескать, говорил Парацельс, *известную человеческую жидкость, то есть сперму, и помести ее в закрытую тыкву на семь суток, после чего храни сорок недель в лошадином желудке, добавляя каждый день крови;* результат, уверял Парацельс, будет налицо: *по истечении срока явится живой ребенок, имеющий все члены, — как дитя, рожденное женщиной, но весьма маленького роста;* тетя София в отчаянии обращалась к учителю, но тот лишь издевательски хмыкал, отсылая ее в новый поиск; в конце концов Вирхов ознакомил ее с трудами Спалланцани и посоветовал уделить пристальное внимание работам здравствующего в Париже Пастера, после чего тетя София пришла к мысли, что воскрешение человечества возможно — пока в теории, но и практических результатов, думала она, когда-нибудь удастся достичь; она и достигла, но это было годы спустя, уже после рождения Агнешки, а до этих событий, задолго до них, она шла быстро-быстро по Виленской и даже бежала, потому что весенний день переполнял ее, и счастье переполняло, и предчувствие грядущего, она бежала по Виленской от «Гранд-отеля» Бенямина Ландо и думала о любви, предчувствуя любовь, ведь любовь должна была явиться, как мечталось, в образе стройного военного, — молодого, красивого и в романтическом смысле безупречного, она и явилась, то есть любовь, а было в ту пору тете Софии восемнадцать лет; ее избранник, носивший имя Анджей, был именно строен, красив и романтически прекрасен, но — не молод! и было ему тогда, пожалуй, за сорок; родом он был из Брест-Литовска и принадлежал к шляхетской фамилии; отец его избирался в свой час уездным предводителем дворянства, благодаря чему мог влиять на местное сообщество и умягчать по мере сил своих нравы земляков, воспламенившихся в 1831-ом; с началом пожара многие горячие головы решительно стали собираться в Беловежскую пушу и даже брали оружие, предполагая сражаться с русскими за новое возрождение Речи Посполитой; благодаря страстным речам осторожного предводителя дворянства потенциальные инсургенты оставались вполне мирными обывателями, сберегая жизни свои и ближайших родных; предводитель же дворянства был богатым отцом, вдовым и не желавшим наново жениться, родителем пяти сынов, которые получали образование в усадьбе: наставником служил у них ксендз Мастюк из Вильно, тайный убийца и бандит, ливший русскую кровь еще под штандартами Наполеона; русские были для него враги, сломавшие границы прежней Польши, и вот спустя два десятилетия от начала войны двенадцатого года он вновь взялся за оружие и в самой гуще первого восстания изрядно наломал дров, но минули года, он поучился в семинарии, образовался, получил рекомендации и стал репетировать подростков, — так и попал в семью брестского предводителя дворянства, где давал детям закон Божий, историю Польши, польский язык и арифметику, — он, впрочем, не был охоч до наук, зато был предезрок в отношении прекрасных дам, кои хлопотали в поместье предводителя, — на кухне, в комнатах, а также в саду, парке, в конюшнях и на псарне, — как ловко задирали он время от времени сутану, не видел предводитель, но хорошо видел Анджей, любивший следить за проказами ксендза; тот отличал еще и хозяйское вино: скрадется между уроками в буфетную, оглянется на стороны, откроет шкафчик, достанет графинчик, возьмет лафитничек, булькнет втихаря да и

опрокинет! такой был затейник, но ненависть горела в нем, ненависть к русскому укладу, и снова прошло довольно лет, а он, будучи уже не млад, снова стал в шестьдесят втором году поборником старых границ Речи Посполитой и такую нехорошую роль сыграл в судьбе Анджея, что тот проклинал ксендза много еще лет по смерти его, а любил Анджей другого человека: был в учителях у сыновей предводителя также пан Казимеж, наставник в рисовании и живописных упражнениях, под руководством коего Анджей достиг больших высот, — учитель прочил ему славный путь, — пан Казимеж был молод, горяч, но и рассудителен, и многожды приходилось ему спорить с Мастюком в присутствии учеников относительно будущего Польши, — пан Казимеж в согласии с ксендзом искал прежней Речи Посполитой и хотел свободы стране, не думая, однако, будто ее следует добыть кровью, — в этом они с ксендзом сильно расходились, а ксендз, против того, мечтал о крови, горел кровью и жаждал крови, — пан Казимеж, не соглашаясь и противореча, приглашал ксендза к мирной дороге созидания, которую непримиримый Мастюк гневно отвергал; Анджей склонялся к мнению Казимежа, и даже не в силу расположения к нему, а единственно потому, что не терпел насилия, казавшегося враждебным живой жизни человека; в пятьдесят втором году Анджей вступил в кадетский корпус в Бресте, что вызвало ярость и возмущение ксендза, ведь то был корпус императора, но отец Анджея имел свои резоны и наставлял сына впредь учиться с сердцем, налегая пуще всего на русский язык, и постичь его, ибо с ним только и могут войти в ум молодого человека идеи человеколюбия и братства; ксендз Мастюк был очень против, но высказывать свое мнение не смел, посему спустя время стал ездить в корпус и, испрося свидание, внушать подопечному кадету зажженные ненавистью к русским патриотические мысли, — друг мой, говорил Мастюк, держись католического строя, люби отчизну и помни Стефана Батория, победителя Ивана Грозного, помни Ходкевича, воевавшего русских, и Владислава-королевича, гостя московского престола, помни Жолкевского, разбившего князя Шуйского при Клушине, Собеского и короля Сигизмунда, ты поляк, и судьба, стало быть, тебе любить польское, — он любил польское и учился ненавидеть русское, но русский язык учил прилежно, — как просил отец, — русские повести читал исправно и имел русских друзей среди кадет, — польское, впрочем, каменело в нем, и под влияньем Мастюка, чей пригляд был строг, он вдохновлялся всякий день, восторженно возбуждаясь победами Костюшки; будучи кадетом, Анджей ходил в тайные собрания, где пели «Марсельезу» и польские песни, вместе со всеми бузил в корпусе, а когда началась буза на улицах, принимал живое участие и в ней; в шестьдесят втором году, выйдя из корпуса, поехал он в Варшаву искать службы, но был захвачен необъяснимым городским брожением: в улицах клубился народ, разодетый со странною претензией — кругом мелькали кунтуши, конфедератки, революционные эмблемы, дамы были в трауре, простоволосые и убранные терновыми венцами; костелы жужжали, как ульи, и в каждом из них собирали *народову офяру*, то есть пожертвования ради революции, — Анджей изумленно смотрел: подносы начищенной меди споро наполнялись бриллиантовыми кольцами, золотыми серьгами, жемчужными ожерельями, всюду гремели патриотические песни и слышались крики *Polska, Polska, Polska!* — свое платье стало казаться ему бледным, то было обычное платье, без патриотического лоска, и он, сыскав портного, заказал у него *чамарку* с шароварами, — влиться в народ могли помочь также сапоги и конфедератка, что вообще не было проблемой — сапоги были у него свои, а конфедератками торговал в Варшаве всяк галантерейщик; блуждая по городу, Анджей вдыхал воздух свободы и пьянел без вина,

до того чудной казалась ему атмосфера горячечного города, — в Саксонском саду гремела демонстрация, и молодой шляхтич жег толпу вдохновенною речью о приезде Гарибальди, взявшего диктатуру и ставшего во главе революции, — братья-поляки! вопил оратор, пришел час свободы! как один взойдем под руку Гарибальди! долой москалей, долой москальскую власть! — и толпа отвечала: доло-о-ой! — в сад между тем входили новые толпы, ведомые ксендзами, чамарки братались с кожухами, мешались сословия, и не было более панов и крестьян, были братья и верные сыны забитой *ойчизны*, вдруг вставшей ото сна и продравшей горло, — все разом кричали, кресты, хоругви, ветки плыли над толпами, то тут, то там возникали сбойки людей с кипящими ораторами внутри... страшные слова говорились и проклятия сыпались на империю чохом; отпор не был силен, — Велепольский, помощник наместника, готовил реформы, желая примирить умеренных с партией радикалов, чтобы избежать мятежа, но два покушения на него заставили торопиться: в январе шестьдесят третьего он объявил рекрутский набор и определил в списки всех, кто был причастен к бунту, манифестациям или враждебности Государю, — служить империи пошли двенадцать тысяч *накупленных*, — потенциальных убийц и головорезов... но тут все и загорелось, — посыпались манифесты, декреты, указы Временного правительства и следом — вооруженные стычки; Анджей был в возбуждении и уже видел Польшу свободной; в Бресте, куда он поехал навестить отца, встретился ему Мастюк, — ксендз горел, без конца говорил и во весь разговор был близок к истерике, — глаза его блистали, руки двигались, он брызгал слюной, дергался, гримасничал и никак не мог пресечь в себе поток отборной брани, наконец собрался и развязным тоном предложил Анджею вступить в шайку, — в шайке командовал он сам; оружия у нас нет, говорил он, но мы добудем его, есть окропленные святой водой ножи, — станем резать русских и помещичьи глотки! — надо ли? вопрошал Анджей, пугаясь решительности Мастюка, — надо! уверял ксендз, уверенно разрубая рукой воздух, — и папашу твоего зарежем, для чего русских привечал? — тут Анджей пугался больше, ибо действительно в тридцать первом году отец стоял на стороне русских и, будучи предводителем, пытался утишить *патриотический* жар друзей и соседей, год спустя писал прошение к Государю ввести бытование языка русского — там как раз, где всегда торжествовали белорусский с польским; за то радение местные помещики не любили отца, а ксендз Мастюк и вообще не стеснялся в присутствии соседей очернять его; жалованье у предводителя он между тем получал и не считал зазорным класть губы в чужое вино, — ты думай, говорил Мастюк, у меня шайка в двадцать душ, завтрашний день идем на Гродно! — Анджей не желал идти, бросать отца и становиться *двадцать первым*, — хорошо подумай, улещал ксендз, в Лидском уезде стоит, ожидая нас, полковник Нарбутт, а с ним знаешь ли — кто? — кто? спрашивал Анджей, — друже твой Казимеж, сам Андриолли его вызвал; Анджей был убит: пан Казимеж в отряде Нарбутта? хотел он разве воевать? — и до самого утра думал Анджей, идти или не идти: с одной стороны, он горел свободой Польши, с другой — отрицал насилие, к тому же — не хотел бросать отца... но и мечтал обелить его, отмыв герб рода своим мятежным делом, — отец слыл *сомнительным*, и в условиях бунта ему нельзя было жить в поместье; утром Анджей просил отца уехать — в Германию, Францию, куда угодно, а сам решил стать *двадцать первым* примкнул к разбойной шайке, в которой было два шляхтича из мелкопоместных и крестьяне, вооруженные косами, впоследствии их звали — *косиньеры*; взяв продовольствие, отряд выступил в поход и спустя время явился у Жабинки, где наткнулся на двух конных казаков, — казаки принялись стрелять, но спас лес, и никто

не был уязвлен, — мятежники, против того, имели успех, вытеснили их в лошину, косами сняли с коней и отобрали оружие; никто не хотел забирать казачьи жизни, но Мастюк вынул нож и, подойдя к поверженным, хладнокровно раскроил им глотки; ружья, лошади, одежда были добычей; все дружно радовались штуцерам, открывавшим возможности и облегчавшим путь, лишь Анджей, хмурясь, мрачно попенял ксендзу: зачем убил? чего же не оставил? — но ксендз сказал: нужно было убить, и папа позволяет, и Бог простит... а ты как думал? — дорогой к шайке ксендза прибывали новые люди — из сел, местечек, фольварков, шайка росла, являлись бунтовщики с ружьями, и со временем отряд превратился в грозную силу, но знал уже о нем и противник, были стычки, раненые, и двоих даже схоронили в лесу, некий генерал уже искал жизни Мастюка, и ксендз, думая срезать путь, бросил Гродно и двинулся на Лиду; по пути было поместье в управлении знакомого Мастюку Вспольского, принявшего мятежников; Вспольский стал потчевать гостей, чтоб шибче убрались, а тут, как назло, и донеслось: следом прет генерал, мечтающий ксендза, — Вспольский, недолго думая, выслал генералу вина, три бочки чистопородного *бимбера*, дабы остановить спорое движенье войска, — ясно же было, что помещик виновен, привечая у себя мятежных гостей, да генерал, надо полагать, был не прост, — встретив бочки, порубал их шашкой, разбил в щепы и, не говоря худого слова, пошел дальше, — через два-три часа достиг цели и всею мощью войска обрушился на Вспольского; пространство окрест пришло в смятение, — грохот артиллерийской канонады, стук пуль, горький дым и вопли солдат... усадьба превратилась в месиво, и хозяин в неразберихе был убит... бедный Вспольский! — думал Анджей, спустя неделю, когда поредевший отряд Мастюка кое-как ушел в леса, — бедный Вспольский... хотел остановить судьбу бимбером... как фатально и прозаично теряет жизнь бедный человек! не разлей командир вина, может, и пожил бы еще несчастный помещик... дозвожь генерал солдатам напиток, они бы увалились в кусты, уснули, а шайка Мастюка тем временем ушла б, — все живы, и помещик жив... но ведь не случилось! генерал, впрочем, отвалил, и несколько времени отряд шел без боя, ночуя в лесах либо в поместьях хозяев, благоволивших бунту, — проходя деревни, Мастюк обыкновенно становился и, говоря громкие речи, воспламенял патриотов, подспудно горевших возмущением к москалям, — крестьяне брали спрятанные в схронах косы и становились под знамя Мастюка; косы, надо сказать, назначены были для снятия голов, лезвия их крестьяне ставили в продолжение косовищ, снабжая со стороны обушков крючками для стаскивания врагов с коней, — вот эти *косиньеры* обычно шли в арьергарде, прикрывая обоз, впереди шла кавалерия, а посередке — стрелки со штуцерами, — так от местечка к местечку армия Мастюка прирастала бойцами, и каждый фольварк давал двух-трех патриотов, ибо ксендз не знал удержу в речах, и огненные слова его взжигали всякого, кто мечтал свободу Польши; впрочем, не все и мечтали, предпочитая вседневный покой сомнительной военной славе, — таких Мастюк вешал, — входил в сельцо, искал крестьян и, ежели которые виляли, — совал без разговоров в петлю! но противников смуты было, против ожидания, довольно, не только в крестьянах, но и в помещиках, духовенстве, — их вешали, резали, а Мастюк воспитывал подручных, со счастьем исполнявших приговоры, — позже, под Лидой, те люди, или, говоря точнее, нелюди, стали в строй *кинжальщиков*, официальных убийц Жонда народа, то есть, правительства, которое гнездилось в Варшаве, — Мастюк брал силу и, будучи в Щучине, получил с нарочным грамотку о возведении в военные воеводы и полковники, — победы его дошли в столицу, а пуще — слухи об усмирении крестьян,

ибо достигнутое не полагал он достижением, а, изобретая новые революционные формы, дошел до учреждения даже жандармов-шпионов и жандармов-вешателей: первые искали *нахмуренных*, а вторые, недолго думая, казнили их, — так возле Хрустальной по наущению ксендза казнили унтер-офицера, отставника русской армии, а с ним — жену с детьми за то лишь, что унтер сей подозревался в шпионаже и почитал православие правильною верой; как можно? — спросил Анджей Мастюка, желая остановить казнь, — разве доказал ты? а детей за что? а бабу за что? — струцкой же мужик! с досадой сказал Мастюк, *подозревался!* для чего ж не казнить? — так Мастюк шел, сметая по пути своих, чужих и не особо разбираясь в правоте виновных; Нарбутт тем временем успешно воевал под Лидой, ожидая подмоги, хотя отряд его и без подмоги рос — являлись к нему бойцы, слышавшие об успешной борьбе и желающие прославиться в боях, — он принимал всех, и в лесных стычках удача всегда благоволила ему: в конце февраля у Рудников царский полковник Тимофеев был разбит Нарбуттом и потерял штуцера, продовольствие, боевые припасы; Нарбутт, как Мастюк, получил из Варшавы звание полковника и был назначен главным революционным комиссаром Лиды и Лидского уезда, — вообще, в случае поимки он был бы незамедлительно казнен, поскольку противной стороной считался предателем, ибо недавно еще служил в русской армии и вышел поручиком в отставку, — то был нестарый человек — суровый, малословный, полный амбиций, — грозные черты Нарбутта, страшные усы, хладный взгляд палача пугали всякого, не знавшего его близко, но солдат своих он любил, и они верили в его любовь; договоры были у Нарбутта с двумя шайками — Мастюка и Кульчицкого; Мастюк с боями шел в леса, а Кульчицкий, который в мирное еще время был начальником гродненской станции железной дороги, атаковал со своей группой вокзал в Гродно, пытаясь угнать паровоз и достичь Лиды, но был разбит в прах пехотным полком штабс-капитана Макарова, — лишь с десятков мятежников избегли гибели и уже без боев стали пробиваться в Лидский уезд; спустя время партизаны сошлись в лесу под Поречицей, и Анджей был рад видеть дорогого друга Казимежа, познакомившего его с Андриолли, который хоть и бежал впоследствии смерти, но попал под суд и едва скрылся в Англии, — судьба охранила агитатора, а если б не судьба судьбе, — мир не видел бы его картин, запечатлевших Людвика Нарбутта, комиссара Лиды, и Леона Кульчицкого, начальника гродненской станции, и Казимежа, коллегу и друга, и Анджея, безымянного героя эпохи... мятежники праздновали сход, думая торжествовать новые победы, но противная сторона тем часом не спала, и борзой Тимофеев уже готовился к реваншу, да и взял его: после разгрома у Рудников силы полковника выросли в разы и были подкреплены даже артиллерией; пока Нарбутт громил и грабил продовольствие в Поречице, Тимофеев стянул войско и взял в клещи лагерь инсургентов; лагерь был в укывище, по сторонам от него стояли местечки, а в тылу плескалось озерцо, блокирующее пути к ретираду; штурм лагеря не оставлял повстанцам шансов, и они пошли на прорыв, — Анджей рубился спина к спине с Андриолли, кругом шелкали штуцера и горел лес, подожженный пушками врага, и вот уже упал сбитый пулей боец, вдалеке — другой, за краем поляны — третий, картечь стучала беспрерывно, и среди грохота, дыма и ржания коней Анджей терял путь, крутясь на месте в пыли боя, шашки звенели вокруг него и залитые кровью лезвия мелькали у глаз, — русские жали и шли по трупам, тесня пехоту к озеру, но тут... за дальней опушкой явилась кавалерия, осененная трехцветным флагом Жонда и алым знаменем Ягайло, — неровной лентой в сопровождении грохота копыт кавалерия вырвалась из леса и ринулась в прорыв, разворачивая по ходу фронт... протрубил бой

трубач и лошади ринулись вперед! русские убрали пушки, двинули кавалерию... все смешалось: кони, шашки, знамена! и возгласы гнева вспыхивали среди боя, и крики отчаяния, азарта и ужаса тонули в хаосе звуков, — Анджей рубился, кидаясь влево, вправо, и кони толкали его влажными крупами, — кавалерия втягивалась в поле боя, и сам Нарбутт летел вперед на взмыленном жеребце, истерически воя: пошли! пошли! пошли! — выставив перед собой шашку, неся, как смерч, и опять звал трубача: атаку! атаку! атаку! — трубач трубил, и мятежники очертя голову, как в омут, бросались на врага... клубы пыли, кровь — в плеск! и вот уже кавалерия, растолкав вражских коней, порубав всадников, сорвав глотки, ринулась на цепи русской пехоты и... прорвала их! бой закипел в тылу врага, и слышно было в редком осиннике, как клокочет ярость в сердцах бойцов... русские наседали, и вот уже упал на корни осин Игнаций Мельчинский, командир десятки, и рухнул разрубленный шашкой Винцент Сосновский, шеф тыловой стражи, и схватился за грудь ксендз Мастюк, полковник и сотский, а Адам Карпович, косиньер из Ружан, обхватил разбитую голову и свалился без чувств под ноги бойцов... что, впрочем, описывать бои! достанет ли перьев описать? вряд ли! столько баталий впереди, столько людей следует положить еще ради достижения цели или, быть может, добыванья славы... достичь цели или не достичь... ведь цель призрачна, недостижима, нелепа: убить врага, истребить до корня, до праха, свести в могилу, в небытие, — без права воскресения, и надо ли петь о герое, чей силуэт (якобы) растворяется в тумане эпохи, или рассказывать, как доводца сделал его казначеем отряда, доверив монеты, слитки золота и мешочек с камнями, оправленными в серебро? — все это мало значения имеет в сопоставлении с пустотой, в которую от века валяются без счета погибшие в сраженьях воины и породившие их города, страны, цивилизации, потому коротко, хоть и мимоходом, но следует сказать: нагнав бунтовщиков спустя десять дней возле Кротов, полковник Тимофеев наполовину истребил вояк Нарбутта; предводитель утратил в битве коня и приобрел пулю, застрявшую в плече; а там финал: попавший в плен косиньер Адам Карпович выдал упрямому полковнику место схрона отряда, стоявшего на берегу Дубицкого озера, и Тимофеев решил разом кончить с врагом, так надоел ему строптивый Нарбутт, — три пехотные роты вкупе с казачьим эскадроном уверенно свершили дело: остатки отряда повстанцев были изрублены в хлам, а сам комиссар взял три пули вдобавок к одной, доставшейся ему в первой баталии, взял — и не выдержал ноши... тут кончилась борьба за обманную свободу, и Анджей, не желавший более борьбы, вышел из нее вчистую и, с миром приняв личную свободу, которой у него и без того было вдоволь, отправился в Лиду, надеясь укрыться в многолюдном местечке: здесь нужно было ему прибрать казну, — время было лихое и люди бродили окрест лихие: он выбрал замковые руины, куда боялись соваться не только пришлецы, но и местные старожилы, и безлунной ночью надежно спрятал отрядное золото, доверенное ему недавно ксендзом, в развалинах одной из сторожевых башен древнего замка Гедимины; как тетя София сошлась с Анджеем, история не донесла, и я могу лишь констатировать сей факт, — есть письмо Анджея к тете Софии с пометкой «1885» — фривольного даже содержания; обстоятельство это сообщает: у восемнадцатилетней тети Софии с сорокадвухлетним Анджеем уже были отношения, — никто не знает какие, но факт знакомства, разумеется, налицо; спустя год тетя София жила в Москве в опеке у ординарного профессора Ивана Клейна и, горько переживая разлуку с Анджеем, писала ему исполненные горячечной любви послания, уверяя любимого в преданности, верности и неодолимой своей тяге ко всей его необычайной жизни; венчались они в

девяносто втором, зная уже о поездке в Германию, — произошло это, однако, не вдруг, так как тете Софии пришлось ради венчания принять католичество; Анджей любил ее без ума, то есть с умом, но теряя ум, рассудок и чувство реальности от любви, когда она просто на него смотрела — карими глазами, чудными глазами цвета ореховой скорлупы; он был в возрасте и понимал, что она — последняя любовь, лебединая, как говорится, песня, и иных песен в жизни его уж не случится, — он ревновал, мучился и пел любовь каждую минуту жизни, которой немного оставалось: он знал — сроку его не быть долгим, а ты, голубчик Софочка, душа моя и свет сердца моего, ты будешь жить век — счастливо, беззаботно, даже и одна, но *положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь*; он любил ее так, как любят последний (первый) день жизни, как любят ускользящую жизнь, как все счастье, случившееся в жизни, как любят смысл ее, назначенный роком, ведь в назначении жизни и есть смысл человека, — обнимая ее, ощущал он трепещущее тело, пылкое, горячее, вдыхал аромат ее волос и с вожделением целовал голубую жилку, дрожащую на шее... тетя София не хотела в католичество, а костел был супротив венчания: стань католичкой, и после того уже изволь; Анджей говорил ей: давай! к тому ж мы и не разведемся впредь, ибо ксендзы не позволяют же развод, — словом, свершилось — переход в католичество, венчание, великая любовь, ведь и тетя София готова была жизнь отдать за мужа, души не чая в пожилом избраннике, который любому юнцу в любом начинании мог дать очки вперед, впоследствии непременно обогнав его; *молодые* пожили у родителей, и спустя время, не умея сдерживать порывы в части науки воскрешения людей, тетя София возжелала Германии, Берлина и патологоанатома Вирхова; денег на дорогу не было и, немного подумав, Анджей отправился в замок Гедимины за спрятанной там давным-давно казней, порученной ему в год усмирения смуты теми, кто в земной жизни не потребует отчета, не спросит расходных бумаг и уж не заявит своих прав; копая землю, сыскал он кирасу, шлем и средневековый меч, забытые тут неизвестно кем века назад, а казну — не смог сыскать, — может быть, кто-то до него сыскал; нашлись, впрочем, несколько александровских монет в пятьдесят золотых, которые и были потрачены на берлинский вояж, а доспехи Анджей принес в дом и, несмотря на протесты тещи с тестем, прибрал в сенцах, намереваясь позже как-нибудь предложить их главному интересанту — пану Шломо, лидскому антиквару и знатоку лидской старины; так тетя София с мужем смогли поехать в Германию; семь лет в Берлине научили тетю Софию парадоксально и нелепо мыслить, — благодаря Вирхову она поняла, что основа всего — клетка и никакого *самозарождения*, о котором с завидным упорством твердили малограмотные ученые темного прошлого, в природе быть не может, значит, и воскрешение, с недавних пор ставшее для нее психозом, без живой клетки невозможно, но! рассуждая мистически, любое зерно, брошенное в землю, должно прорасти и дать потомство, потому предки наши, закапывая покойников, были интуитивно правы: тело должно дать другое тело, — мысль эту тетя София пыталась донести Вирхову, на что тот резонно возражал: мертвое тело не может быть семенем, я же говорил вам, коллега, — распад белка есть необратимый процесс! — хорошо, парировала тетя София, но может ли ваше утверждение опровергнуть мысль о невозможности полного исчезновения белка? — конечно, отвечал Вирхов, — а как быть с прахом, который разлагается до атомов? не унималась тетя София, ведь прах, в атомах которого *живет* умерший, можно собрать, и *воссоздать* покойника, — во-первых, отвечал Вирхов, искомые атомы могут находиться за пределами вашего воображения... к примеру, в траве,

выросшей на могиле почившего, — в траве, склеванной случайной птицей и унесенной ею за тридевять земель... как будете атомы-то собирать? во-вторых, а лучше сказать, — в главных: ну, соберете вы оболочку, вместилище, как говорится, или сосуд, а потом что? как привлечете душу, дух и кто знает вообще, где место обитания этих невозможных для изучения субстанций? — но клетка! восклицала тетя София, ведь вы сами говорили: в основе всего живого — клетка, стало быть, добыв хотя бы одну клетку предка, можно воссоздать его, дать новую жизнь и воспользоваться тем опытом, который нажил он в прежней жизни; каждый живущий должен искать возможности воскресить родителей, а те, воскреснув, будут воскрешать своих, и дальше, дальше мы будем идти в глубь веков, чтобы вернуть к жизни ушедшие поколения с их уникальными накоплениями, знаниями и нравственными законами, — утопия! в раздражении возражал Вирхов, ибо и в этом случае нечем будет заполнить воссозданную оболочку, — восстановление физиологии и жизненных функций повлечет разве за собой воспроизведение интеллекта, памяти, морали, этики? — но ведь человек не может исчезнуть навсегда! в отчаянии отвечала тетя София, может быть, мы изобретем приборы, способные читать, точнее, считывать код предка, формулу его бытия, и тогда... Леонардо будет творить вечно, Гомер напишет новые поэмы, а Иисус сделает человека высокодуховным и нравственным, — но зачем? спрашивал Вирхов, все, что дали нам предки, и без того в нас, в нашем *фундаменте*, мы есть сумма ушедших жизней, продукт истории, эволюции и совершенствования во времени, и не лучше ли вообще, оставив, может быть, на время фантастическую идею воскрешения, обратиться к продлению жизни человека и поискам путей бессмертия? ведь протопласт живет вечно, клетка может делиться неисчислимое количество раз, а еще есть бессмертные существа — плоские черви, медузы, инфузории и гигантские черепахи, — человек, стало быть, в силу своей уязвимости, слабости и тонкой кожи гибнет не вследствие старости, а от внешних воздействий, к коим следует отнести в первую очередь болезни, которые и необходимо изучать, объяснять и побеждать, что мы с вами и делаем в прозекторской... кстати! ведь смерть — все-таки атавизм! короткий срок нашей жизни есть только приспособительная функция природы, явившаяся ради прогресса эволюции: чем быстрее сменяются поколения, тем эффективнее улучшение человеческой породы... но сегодня у человека есть разум, он крепок, могуч, так для чего же смерть? человек сам может улучшать себя и свой мир! к чему эволюция? мы не должны умирать! время — не критерий жизни, и ведь его нет... дайте мне пощупать время, — и Вирхов энергично потер пальцы о пальцы, словно призывая тетю Софию показать деньги, — где это время? не вижу его, не слышу, не ощущаю... смена времен года — астрономическое явление, старение — физиологическое, так где же время? — обновление человеческого организма может продолжаться вечно, для этого нужно понять механизмы обновления клеток, — ежели клетки будут делиться бесконечно, то человек станет бессмертным... а воскрешение... нет, оставьте эти затеи! — но тетя София была упряма и не хотела оставить *эти затеи*, тем более что жизнь вскоре дала ей направление, подсунув мимоходом убитую собачонку, щенка, которого она подобрала на улице; причину смерти щенка было не понять, но в шерсти его засохла кровь, значит, решила тетя София, был удар; тельце животного еще не остыло, и тетя София, укутав щенка шалью, быстро пошла домой, положила его, ошупала и решила действовать: взяв собачонку за ноги, подняла и слегка хлопнула рукой, — так, как это делают акушерки, чтобы заставить младенца орать, но щенок не проявил жизни, продолжая безвольно висеть головою вниз; из кухни явился Анджей и, цокнув языком,

взялся помогать, но тетя София, не глядя на него, качнула рукой и осторожно спустила щенка на пол; он лежал, протянувшись, и то было мертвое тело, но тетя София, став на колени, сделала наложение рук: протянула ладони и медленно стала перемещать их вдоль собачьего тела... у шеи почувствовала она едва уловимое тепло, напрягшись, тетя София остановилась, но тепло ушло, она двинулась дальше и успела заметить, как между ладонями и головой щенка в доли мгновения мелькнула золотая искра! она сдвинула руки к шее и снова ощутила с трудом осязаемое тепло жизни... еще усилие, еще! и тетя София почувствовала, как что-то сместилось внутри нее, будто бы душа, скрежетнув, сделала оборот и стала в аккурат супротив мира... веки щенка дрогнули и он открыл один глаз! глаз так поразил тетю Софию, что она, застыв в изумлении, долго еще не могла очнуться, — черный зрачок внутри желто-коричневой радужки просто гипнотизировал ее, и она с ужасом глядявалась в эту мистическую бездну; щенок между тем открыл второй глаз, пошевелил головой и попытался встать, — тетя София помогла ему, и он, покачиваясь на слабых лапах, с трудом утвердился, но почти сразу и лег, не в силах вынести бремя судьбы; со временем он окреп, и жизненные дерзновения его так были велики, что он пытался даже проникнуть иной раз в прозекторскую, где работали тетя София с Виrhовом, его не пускали, он лез, его снова не пускали, он снова лез, и в итоге настырный пес находил компромисс: его оставляли в покое у входной двери, где он смиренно и в полном сознания чувства собственного достоинства ожидал хозяйку, чтобы по окончании работы сопроводить домой; в девяносто девятом, уезжая в Лиду, тетя София оставила пса Виrhову, и еще три года, до самой смерти профессора собачий феномен жил при нем, а когда его попечитель покинул мир, — последовал за ним — в буквальном смысле, — переселившись на могилу Виrhова в берлинском Шенеберге, пес две недели сидел, охраняя земляной холм, потом лежал, уже обессиленный, а потом и умер, оставив по себе память, едва не сгубившую мою наивную, доверчивую и простодушную тетю Софию, которая думала, что нашла единственно верный протокол воскрешения — в волховании и эманации духа, но гипотеза та не могла стать универсальной, ведь парадокс воскрешения бездомного пса был только случайным опытом конкретного человека, хотя и естествоиспытателя, но все-таки человека, скованного религиозными догмами, — трудно было тете Софии примирить в себе позиции католички, хоть и обращенной, и — богоборца, укротителя природы, беззастенчиво посягающего на исключительные права Господа; тем не менее спустя семь лет она дерзнула повторить свой еретический опыт: когда ее баснословная дочь, та самая, что была привезена из Хрустальной, не захотела более терпеть страшный мир и, зачавнув, сгорела в течение трех дней, — в миг смерти ее накопленное семьей тайное золото стало трухой, и даже кольцо князя Гедимины, всю жизнь висевшее на шее тети Софии, сошло прахом прямо на коченеющее тело Агнешки; тетя София билась в истерике, но, вспомнив давнюю победу в Берлине, наложением рук попробовала воскресить дитя: от Анджея не было никакого толку, он просто рыдал, упав на колени перед постелью дочери, а Агнешка лежала в простынях бледная и чужая, — тетя София, привычно ощупав тело, отметила апное, асистолию и отсутствие пульса на магистральных артериях... инстинкт приказал ей реанимировать, и она все сделала согласно учебникам, понимая однако: к истинно научному протоколу нужно бы добавить наложение рук, ибо она хорошо помнила, как возвращала к жизни убитого пса; Агнешка была мертва, вентиляция легких и массаж сердца не дали результата, и тогда тетя София подняла руки и наложила их на вселенную, — вселенная содрогнулась, сдвинувшись в пустоту, которой не было

края, — звезды сыпались в бездонную бездну, земля гудела, смыкая горы и грохоча камнями, а на равнинах текли новые реки — чайные, кофейные и кипящие молоком... теть София же, не видя мира в безумии дерзости, сложила руки над дочкой и повела ладони вдоль недвижимого тела, — оно — было — ледяным... теть София в отчаянии думала: нет, нет, нет! и, всматриваясь в глубину остывающей плоти, видела мириады клеток, дрожащих от холода, пыталась согреть их, укрыть, заслонить от смерти, дышавшей морозом и мороком непроглядной тьмы, но ощущала лишь равнодушную силу, безжалостную, непримиримую, жесткую, — ладони тети Софии горели, и крайним напряжением воли пыталась она разогреть их еще... искры трещали под пальцами и то тут, то там вспыхивали в комнате золотые огни... руки тети Софии остановились над грудью дочери и вдруг... синяя жилка на шее Агнешки — дрогнула! теть София застыла... почудилось? нет! жилка дрогнула и другой раз, а искры под руками тети Софии сыпанули снопом... еще усилие! теть София кричала, не в силах вынести боль огня, гудящего в ее пальцах, и видела: тепло проникает под кожу дочери, и что-то мерцает уже вглубине ее тела... Анджей привстал и, пристально глядя в лицо Агнешки, жарко молился, глотая слова, путаясь в словах, захлебываясь словами, шептал, вскрикивал, выл, вопил, и дочь слышала! преодолевая дремоту смерти, открыла глаза и с ужасом посмотрела в ладони матери, — с ладоней сыпалось золото искр! — так теть София второй раз доказала Вирхову свою правоту, поправ смерть и положив в копилку знаний своих бесценный опыт воскрешения человека, но мечта была у нее — воскрешение предков, восстание поколений, — глобальность замысла пугала ее, но и делала бесстрашной и уверенной в своих силах; собрав в домике родителей маленькую лабораторию, она работала сутками, пытаясь найти то, что рождало искры, ту субстанцию, вещество, лекарство, дающие жизнь уже угасшей плоти, билась, как средневековый алхимик над неразрешимой задачей, понимая все-таки: Вирхов, несмотря ни на что, прав, — гибель белка необратима и можно ли вообще подчинить природу, заставив ее плодоносить без границ? решив задачу, человечество достигнет такого прогресса, какой необходим будет для открытия иных миров, путешествий в космосе, освоения планет, постепенного заселения пропасти мироздания... будет ли это? вряд ли! да и раз заведенный порядок Божий нельзя же пересмотреть, ведь как умирал человек, так и дальше назначено ему, стало быть, — ни прогресса, ни освоения космоса, ни переселения в иные миры, тем более, что наложение рук как-то и вообще избирательно, однако ж судьба после чуда с Агнешкой вошла в колею, и дружная семья снова зажила размеренной жизнью: Анджей работал на железной дороге, в Лидском паровозном депо, отец — в кузнице на задах участка, мать хлопотала по хозяйству, а теть София все не бросала свою *алхимию*, продолжая исследования и опыты в домашней лаборатории; ребенок рос, учился в гимназии, дедушка с бабушкой клонились к земле, по миру прокатилась большая война, в России случилась революция, началась Гражданская, а потом советско-польская, Лида отошла к Польше, и все в городе как-то поменялось, хотя и осталось по большому счету незыблемым; теть София таскала в дом трупы животных, птиц, жуков и все колдовала над ними, погружая в кислоты, стирая в пепел, делая из них вытяжки и субстраты, и отец ее уже не раз в сердцах говаривал: это невыносимо! сетуя на зловоние и присутствие в доме опасных веществ, — теть София мало обращала внимания на пени отца и совсем забросила дом, мужа и дочку, которая вообще отбилась от рук, дразнила мальчиков и все время свое проводила в забавах; зимой любила коньки и дни напролет проводила в Деканке, где были замерзающие к концу ноября Большие

пруды, а то каталась в руинах замка, где к Рождеству заливали каток, — там играл духовой оркестр, сверкали лампочки и под густым снегом весело носилась по льду пестрая толпа лидчан; после катка Агнешка тащила к себе друзей и подружек, которые весь вечер шумели в комнатах, мешая тете Софии в ее занятиях: крутили патефон, слушали музыку, танцевали, играли в *фанты*, в *сорви вишню* и в *умри-воскресни*, — «умри-воскресни» всех занимала чрезвычайно, — если «сорви вишню» была игрой эротической, то «умри-воскресни» считалась философской; сорвать вишню было непросто, но заманчиво: какая-нибудь девушка становилась на стул, а юноши по очереди подпрыгивали перед ней, пытаясь поцеловать, и это всегда была веселая суматоха; в «умри-воскресни» гости должны были бесчинствовать и беситься, пока ведущий не воскликнет «умри!» и тогда все должны повалиться на пол, изображая умерших, — временно покинувшим жизнь нельзя было шевелиться, чихать, кашлять или хотя бы на йоту менять положение тела, — нарушивший уговор выбывал из игры, но как только ведущий провозглашал «воскресни!» все должны были вскочить и продолжить бесчинства; надо сказать, что те, кто не принимал тайного смысла игры, нарочно идиотничали в стадии *умирания*: то фыркнет кто-нибудь, то хрюкнет, то станет скулить, стонать, взвизгивать, а то смелый юноша как бы случайно положит руку на грудь лежащей рядом подруге, которая поднимет крик да заведет такую потеху, какую остановить уж нельзя; словом, резвилась молодежь, как могла, и все в доме терпели этот беспокойный уклад, — родители, бабушка, дедушка, — ведь то было бытие Агнешки, жившей *вторую жизнь*, — пусть девочка делает что хочет, говорил Анджей, не видевший мира вне дочки, не понимавший его устройства в ее отсутствие, пусть живет, а как она будет жить — ее дело и никому никогда не будет дозволено вмешиваться в ее судьбу, — так же думала и тетя София, считавшая свои достижения великими, хотя и знала как обращенная католичка сотни случаев воскрешения людей в христианстве — задолго до нее, более того, путеводной звездой своей считала она Константинопольский Символ веры, члены которого гласили *чаю воскресения мертвых и жизни будущего века*; но ревизия ее шаткой доктрины была мимоходом сделана в двадцать пятом году, когда за ней пришли незнакомые люди в самых что ни есть прозаических одеждах, увели прочь и спустя неделю доставили в другую страну, звенящую от мороза и вселенской скорби, — так тетя София впервые увидела Москву и Красную площадь; ей дали отдохнуть и сопроводили до странного сооружения у Кремлевской стены, — оно напоминало торжественный и богатый деревянный сарай, — стены его были обшиты дубовыми панелями и декорированы массивными коваными гвоздями, шляпки которых имели сходство с заклепками на корпусах морских броненосцев, двери и колонны портика были глубокого черного цвета, лак блестел на панелях, и здание целиком внушало тете Софии даже необъяснимый ужас... ее сопровождала свита из нескольких человек, одетых в шинели, кожанки и богатый драп; группа прошла сквер с низкой чугунной оградой и, миновав двери, оказалась внутри здания: в центре полутемного зала на постаменте из камня стоял хрустальный саркофаг, в котором лежал мертвец, — увидев его, тетя София все поняла и сказала: *воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он дал Мне, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день*, — да, да, ответил ей человек в драповом пальто, но только бросьте свои религиозные штучки, — как же? сказала тетя София, ведь мы говорим о религиозных понятиях, — но нас интересуют наука, возразил человек в пальто, — немыслимо и невозможно, сказала тетя София, ведь он давно умер и в жилах его — формалин, хлорид цинка и, думается мне, глицерин, но гибель белка

необратима, — возможно, сказал человек в пальто, однако пророк Иезекииль, собрав в свое время кости умерших, облек их в плоть, а потом оживил, — вы предлагали бросить религиозные штучки, сказала тетя София, где же логика? — хватит демагогии, сказал человек в пальто, делайте свое дело и будь что будет! — немыслимо и невозможно, повторила тетя София, — но ведь вы воскресили пса в Берлине, вы дочь воскресили! — нет, тихо сказала тетя София, не воскресила, а оживила, вернула к жизни, потому что пес был в шоке, а дочь, скорее всего, — в состоянии клинической смерти, — это медицинская практика, не мистическая... мертвое тело оживить нельзя... но я мечтаю, мечтаю об этом... все смотрели на тетю Софию с состраданием, жалостью и каким-то церковным сожалением, — как смотрят на нищих, усыпавших паперть в ожидании подавания, — тетя София хотела продолжить, но тут стоявший позади всех невзрачный человек сказал: уберите ее! и тетю Софию увели прочь; она прошла с провожатыми в сторону огромного краснокирпичного здания со множеством шпилей и повернула влево, в ворота башни с золоченым орлом, — старинные здания, соборы, церкви, часовни, переходы и переулки... наконец ее ввели в красивое дворцовое здание и оставили в маленькой комнате со сводчатым потолком; еды не дали, спать было не на чем, и тетя София, задумавшись на мгновение, легла на пол; наутро за ней пришли, велели одеться, вывели из дворца и через весь Кремль повлекли к какой-то дальней стене, — за спиной ее шли два стрелка с немыслимо длинными *винтарями*; шинели стрелков хлопали на ветру, и оба они кашляли в кулаки, красные от мороза, обветренные и задубевшие; поодаль шли двое в штатском, — с повадками племенных вождей, они бубнили бесцветно, перебивая друг друга, — в их голосах слышала тетя София отчаяние, злобу и неизбывное горе, — бубнили так, что слов было не разобрать, лишь звуки-окатыши ссыпались с обветренных губ, и тетя София нервничала, вслушиваясь в раздраженную перебранку начальников и сухой кашель стрелков, ветер выл, гоня поземку, несущуюся, как сор по маслянистым спинкам обледенелых булыжников, жег плечи, ноги и онемевшее на морозе лицо, тетя София шла, время шло, вечность шла, но стояла на месте, и смерть шла рядом с тетей Софией, а потом стояла рядом с ней у красной стены, семь лет назад посеченной свинцом, и один из штатских уже сказал: готовься! и тетя София успела подумать: воскресенья не будет, ибо не родился безумец, способный молекулу праха дорастить до души, не говоря уж о полноценной плоти, а стрелки между тем, подняв винтари и положив красные пальцы на ледяные курки, в нетерпеливом ожидании искоса поглядывали на хмурых начальников, злобно препирающихся друг с другом: он не сказал — убить, простуженно хрипел один, — он сказал — убить! возражал другой, — нет! он сказал — убить! это не означает убить! — именно означает! — нет! убить это лишь убить, если бы он хотел убить, то так и сказал бы — убить! только убить, а это, стало быть, убить — с глаз — долой! — и так они спорили, а тетя София стояла на ветру, стрелки дрожали и стволы винтовок дрожали, выл ветер, неслась поземка, и тетя София слышала внятный космический гул, который приближался, приближался и приближался... да она ничего не знает, какой смысл? продолжали начальники, уедет домой и забудет! — нет! она может дискредитировать нас! — чем? ведь она видела только то, что видели все, а разговоры... так ведь это лишь разговоры... уьем и сожжем, как Фанни, — с Фанни была месть народа, а этой — за что мстить? — тетя София заледенела, стрелки заледенели, пальцы стрелков заледенели, космический гул нависал над страной, а начальники спорили и все никак не могли сговориться... через месяц тетя София была в Лиде, живая, но слегка поврежденная в уме, — все делала невпопад,

не в лад, роняла предметы, лила чай мимо чашки, спотыкалась на ровном месте, падала в поле, терялась на улицах, а раз даже подожгла дом; лабораторию Анджей закрыл на ключ, от греха подальше и стал внимательнее приглядывать за женой, да недолго приглядывал: в двадцать седьмом умерла Агнешка, и даже наложение рук в этот раз не спасло ее, долго лежала, угасая, и наконец угасла; Анджей смерть дочери не снес и спустя полгода отправился вслед за нею; в тот же год ушли и родители, — друг за другом, как будто желая и в смерти быть вместе, — похоронив семью, тетя София осталась одна — без денег, без разума и без смысла; как она жила — один Господь знает, и только бродила по Лиде в поисках пропитания и добывала его не всякий день, пользуясь лишь состраданием соседей, старых знакомых и незнакомых; вечерами садилась она возле печи, в которой потрескивал собранный накануне хворост, и долго-долго беседовала с сидящими рядом родителями, Агнешкой, Анджеем, пропавшими (пропавшими!) братьями, сестрами, которые приходили и слушали ее жалобы на судьбу, жизнь и болезни, — они были живые, ведь тетя София умела же воскрешать умерших, они для нее были живые, ибо наши родные не уходят от нас, а лишь отлучаются ненадолго, мы с ними всегда, всегда... она видела степи, укрытые саванами туманов, пойменные луга за Лидейкой, чайные, кофейные и молочные реки, текущие вспять, словно тяжелая карамель, и все шепталась, шепталась, шепталась с родными, а они внимательно слушали и степенно кивали... надо просить прощения, думала тетя София, просить прощения у родных, которых нет уже, но которые — в сердце, и здесь я с ней заодно: прошу прощения у мамы, бабушек, дедушек, дочери, у женщин, любивших меня, ибо я в вечном долгу перед теми, кто ушел раньше, и, как тетя София, хотел бы воскресить всех! но уже понимаю, что мало воскресить одного кого-то или только *своих*, надо ж воскресить друзей, соседей, сослуживцев и собутыльников, случайных знакомых и попутчиков в поездах, собаку, кошку, ворону, которая спала на шкафу в нашей коммуналке, и жемчужных гурами, живших в аквариуме, когда мне было двенадцать лет, надо воскресить Васю-алкаша, грузчика нашего продмага, моих учителей и вожатую, в которую был влюблен, дрожашую на ветру сирень, горную жимолость и первую клубнику... все, всех надо воскресить, но как, как? я спрашиваю у тети Софии, и она ответит мне, конечно, ответит, хотя и лежит много лет немая и недвижимая на лидском католическом кладбище, справа от сгоревшей в девятьсот пятом каплицы Святой Барбары, покровительницы, между прочим, легкой смерти, и — рядом со своими родными; на камне Анджея высечены едва видные сегодня слова: *возлюбленная, положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь*; неподалеку спят Стефан Буткевич, лидский маршалок, евангелист Эрнст Медема, сын русского посланника в Персии, генерал-лейтенант Иосиф Заржецкий с супругой, урожденной фон Гревенс... хорошая компания у тети Софии, заслуженные люди, умершие, правда, *легкой смертью* под рукой Святой Барбары, чего не скажешь, конечно, о тете Софии, которая приняла последний бой с мраком семнадцатого сентября тридцать девятого лихого года, когда проголодав несколько дней, оделась в рубище и вышла к Крестовоздвиженскому костелу, — весь день она простояла при входе в надежде на подаяние и видела, как улицы наполняются людьми, лошадьми, подводами... в клубах пыли плыли орудия, грузовики... гудя и газуя, рвались вперед похожие на черных жуков автомобили начальства... солдаты брели в колоннах, и тетя София дивилась их виду: они были измождены, грязны, серы, одежда их зияла прорехами, а обувь просила смены, — многие были без обуви, — в жалких обмотках, обертках, обносках; она смотрела и думала: это нашествие ада; в самом

деле, солнце садилось, и весь этот клубящийся, смердящий, гремящий зловещим железом поток неумолимо, неукоснительно шел куда-то вперед, — к ведомой только ему загадочной цели, — лязг, дребезг и дрязг, сопровождали его, и грозный грозový гул грязным масляным пологом накрывал Лиду... солнце сочилось кровью, и тете Софии казалось, что кровь вливается в город вместе с войсками... ад! думала теть Софья, в ужасе втягивая голову в плечи, а войска все шли, и пыль висела над ними, подсвеченная кровавым фонарем солнца... случись мне подняться вверх и облететь близлежащие улицы и домишки окрест, чахлые деревца, сухие кусты, я увидел бы со своей высоты плывущий, словно корабль, костел, расплзающиеся по сторонам войска, технику и — сквозь пелену розовой пыли — маленькую фигурку тети Софии, последнего в этом мире борца со смертью... ни гроша не было в ее подаянии, только в вечер, когда солдаты сошлись в дворах и стали раскладывать костры, двери костела открылись, и из полутьмы его вышла старушка, — костел надвинулся, сник, словно предупреждая, — много было смысла в этом костеле, — он говорил: смерть, посылаю тебе смерть в лице старушки, старушка несет яйцо, которое не есть начало, есть же — конец, довольно тебе страдать, умри уже ради воскресенья и жизни будущего века: старушка подошла и дала тете Софии яйцо, которое та с великой благодарностью и коленопреклонением приняла, завернула в тряпичку и, вождедя явств, отправилась восвояси; голод давно мучил ее, и она думала святым подаянием поскорее утишить его, но... зайдя в дом, увидела разор и смуту: кто-то из красных армейцев, взломав дверь дома, успел поживиться нехитрым скарбом бедной вдовы, — теть Софья кинулась в посудный шкафчик, надеясь взять сковороду для яйца, но сковороды не было! — яйцо! теть Софья хотела пожарить яйцо, но не на чем было его пожарить... волна гнева окатила теть Софию, — она поняла: ад надвигается на нее! стало быть, нужна оборона! как, чем сражаться?... она металась по дому, хватала предметы, и совсем уже мутный ум ее твердил ей: атака! атака нужна, не оборона, и, значит, необходимо оружие! она зашла в сени и извлекла из угла доспехи, найденные когда-то в земле замка, — кирасу позеленевшей меди и почти изумрудный шлем, сплошь крытый окислами цвета зрелой травы — поверх искусной чеканки древнего чекана; тут же лежал и меч, почти не тронутый ржою; она надела кирасу, укрыла голову шлемом и взяла в руки меч... тут в небе зарокотало, и теть Софья почувствовала в себе неукротимый гнев, — пылая, она подошла к двери и сильным ударом ноги вышибла ее вон; ночь спустилась на Лиду, стал накрапывать дождь, и дальние огни костров в замке мерцали во влажной темноте; стоя на крыльце, теть Софья глядела вдаль, — небо снова ворчало, будто гигантский кот, вольно раскинувший облака-лапы, и тут сверкнула молния, а спустя мгновение громыхнул гром! теть Софья вздрогнула, крепче сжала рукоять меча, упершись пальцами в шершавую гарду, и — шагнула с крыльца; путь ее лежал в замок, к кострам и запаху мяса в углях, — она шла под дождем, и каждый шаг отдавался гневом в ее воспаленном мозгу; дождь шел, теть Софья шла, время шло, вечность шла, но стояла на месте, и смерть шла рядом с тетей Софией, — в безумной ярости стала она у замка, вглядываясь в костры и в красноармейцев, похитивших сковородку; в развалинах жарили мясо, и теть Софья почувствовала дурноту, но, скрепившись, решительно подняла меч, — за речкой раздался грохот и над темными купами речных ольх снова засверкали молнии, — в полном безумии теть Софья пошла вперед и, поравнявшись с первым костром, смела его! красноармейцы схватили винтовки, но не стреляли, в недоумении глядя на старуху в кирасе, а она меж тем шла вперед, круша костры, котелки и даже задевая солдат древним мечом; возле руин башни увидела она в куче

сучьев сковороду, и красноармейцы, сидевшие у костра, в ужасе отшатнулись, когда тетя София схватила сковороду и воздела ее в грозное небо, — странная картина, дикая, страшная: старуха в лохмотьях и в позеленевшей кирасе, размахивая средневековым мечом и обугленной сковородкой, теснит в черноту ночи изумленных солдат, нехотя подымающих свои винтари... тетя София визжит... вспыхивает молния, гремит гром... тетя София ступает... красноармейцы вскидывают оружие и наводят его на безумицу... но она с размаху бьет мечом ближайшего к ней стрелка, и в эту минуту, совпадая с небесным громом, грозно грохочут грубые трехлинейки! тетя София неуязвима, — кираса еще крепка, и пули лишь оставляют вмятины в ней, шлем защищает голову, и сковорода, как щит, отражает пули! ад! тетя София видит мерзкое шевеление ада: земля вывернулась наизнанку и ад рядом, близко — вон там режут кого-то, там жрут человечину, там растлевают детей, там пытаются, выворачивая кишки, там расстреливают, сажают на кол, топят в дерьме, а на сковородах жарят женщин... мои сковородки! вопит неистовая тетя София, верните мне сковородки! в нее стреляют, но она бессмертна, и не кираса охраняет ее... ад клоочет у нее под ногами, она уже стоит в углях и гром гремит, а молнии откалывают куски изумруда с ее медного шлема, и тут ад говорит: убейте ее! но она хохочет, и дикий хохот ее несется по развалинам замка... убейте!! и вот сквозь ночь, звезды и пламя костра, сквозь россыпь рубиново-рыжих искр она видит нож, резко блеснувший у ее глаз... смилуйся надо мной, Господь! говорит ад, и вонзает нож тете Софии в шею — сбоку, в артерию... кровь отворяется и шумным потоком рвется наружу... умри! говорит ад... воскресни! говорю я, открывая свой фамильный альбом: тетя София изображена тут на карточке в гимназической форме, и я, медленно проводя ладонью по карточке, всматриваюсь в ее лицо: оно прекрасно... тете Софии здесь лет пятнадцать, не более, она в белом, кажется, выпускном платье с белой пелериной и белым бантом, белые нарукавники — выше локтя; она опирается на ампирный столик, занятый псевдоримскою вазой с золотыми кариатидами... эта юность и чистота еще ничего не знают, тетя София думает: жизнь впереди! и какая жизнь! но спустя годы эти глаза тускнеют, кудри секутся, проходит двадцать лет, тридцать, и только наложением рук на вселенную может теперь тетя София воскресить прошлое — из двадцать пятого года, из тридцать девятого... я переворачиваю страницы альбома, и снова передо мной дед Иосиф, бабушка Паша, дядя Богдан, дядя Авессалом, дядя Саша и какие-то безымянные родственники, чей фамильный статус потерян навеки в катаклизмах эпох... но ведь я владею опытом тети Софии: наложением рук на вселенную я воскрешаю их... тетя София! красивая гимназистка, безумная старуха... тетя София! я смотрю на ее карточку, осторожно трогая пальцами девичьи губы, и тихо говорю: воскресни! и она — воскресает...